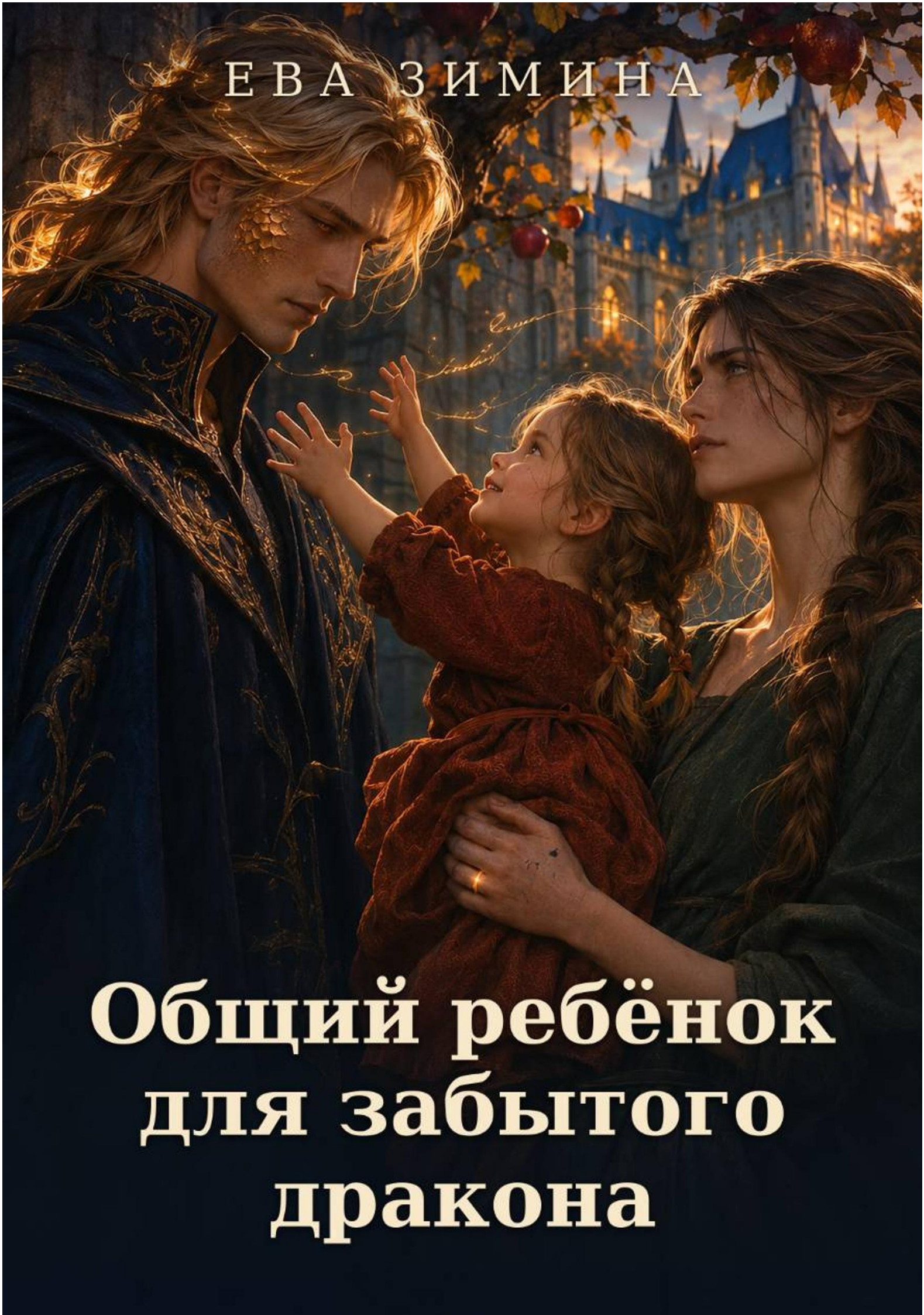

ЕВА ЗИМИНА
Общий ребёнок для забытого дракона

Ева Зимина

Общий ребёнок для забытого дракона

«Автор»
2026

Зимина Е.

Общий ребёнок для забытого дракона / Е. Зимина — «Автор», 2026

«Год я шла к этим воротам, а мой муж за ними не помнил, что у него есть жена».Ждана — посадская переписчица с неудобным даром: она помнит всё дословно и видит, где чужую память подшили. Четыре года назад она стала женой придворного дракона Ратибора Зарецкого. Теперь весь двор уверен, что лорд никогда не был женат, свидетели честно клянутся в этом перед зеркалом правды, а сам Ратибор смотрит на неё вежливо и пусто.Ждану объявляют самозванкой, трёхлетнюю Ладу хотят забрать «для освидетельствования», а заботливый канцлер каждое утро запирается с забытым драконом на час. До новолуния двенадцать дней. Потом Ратибора сотрут начисто — по закону и из милосердия.У Жданы есть горелая корка, старый архивариус, дочь, которая всё ещё зовёт отца «тятя», и обещание, данное у Памятного камня: «Я буду помнить за двоих, пока ты не вспомнишь».

© Зимина Е., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Забытая 5
Глава 2. Дракон, который забыл себя 10
Глава 3. Самозванка 15
Глава 4. Обручье памяти 22
Конец ознакомительного фрагмента. 23

Ева Зимина
Общий ребёнок для забытого дракона

Глава 1. Забытая

Год я шла к этим воротам, а мой муж за ними не помнил, что у него есть жена.

Столица встретила меня так, как встречает всех, кто пришёл из посада с ребёнком на руках и правдой за пазухой: не заметила. Аркенхольм гремел колёсами, звонил к полудню всеми своими башнями, тёк мимо меня чужой, нарядный, забывчивый, — а я стояла у высоких кованых ворот дворцового двора, держала Ладу за горячую ладошку и в сотый раз повторяла себе то, что помнила так ясно, будто это случилось не четыре года, а два вдоха назад: как Ратибор Зарецкий надел мне на палец обручье, как смеялся, как назвал меня своей памятью и своим домом. Я помнила это дословно. Я всё помню дословно — это мой дар и моё проклятие. Беда в том, что человек, который клялся мне у Памятного камня, не помнил теперь ничего.

— Мама, — сказала Лада, задирая голову к воротам, — а тятя там?

— Там, зайка, — сказала я. — Мы к нему.

За этот год я стучалась в столько дверей, что сбилась бы со счёта, будь я как все. Но я не как все — я помню каждую. Помню писаря в жёлтом присутствии, который трижды терял моё прошение и трижды глядел на меня без единой зазубрины в глазах. Помню лекаря дома Зарецких, доброго Онуфрия, что принимал у меня Ладу, — а прошлой зимой смотрел на меня и не узнавал собственных рук, которыми держал мою дочь первой. Помню, как поняла страшное: беда не в том, что меня не пускают. Беда в том, что меня забыли — не по злобе, а начисто, будто вырезали. Целый дом, целую жизнь, вырезали чисто, как режет опытная рука, привыкшая резать по памяти. И я, которая не умеет забывать, осталась одна со всем, что помнила, — как единственный свидетель пожара, в который никто не верит, потому что дом стоит целёхонек.

«Правду забыть можно, — говорила моя бабка, тоже памятливая, — а вычесть нельзя». Она умела то же, что и я: помнила всё до крошки и видела, где чужую память подправили. В посаде её звали то ведуньей, то полоумной — смотря по тому, кому она успела напомнить забытый долг. От неё я и знаю, что память — не сундук, откуда вещи только пропадают. Память — это счёт. Из счёта можно вычеркнуть строку, но сумма остаётся прежней, и если сложить заново, всегда видно: строки не хватает. Весь дом Зарецких свели к ровной сумме без одной строки. И я эту строку помнила наизусть: себя, Ладу, четыре года нашей жизни — всё, до последней черты.

Мне было велено не приходить. Мне трижды присылали с посыльным бумагу с печатью канцелярии, где ровными писарскими буквами сообщалось, что притязания некоей Жданы, посадской переписчицы, на родство с домом Зарецких признаны ложными, что лорд Ратибор Зарецкий никогда не состоял в браке и не имеет детей, и что дальнейшее беспокойство будет пресекаться стражей. Я прочла все три бумаги от корки до корки. И в каждой, между аккуратных строк, я видела одно и то же: их писала не злоба, их писала чужая память. Тот, кто диктовал эти буквы, сам верил, что говорит правду. А верить в ложь и говорить ложь — это, знаете ли, разные вещи, и я, к несчастью, умею отличать одно от другого.

Стражник у калитки был молод и скучал: грыз заусенец на большом пальце и поглядывал на голубей под карнизом караульни. Я подошла, и он выставил локоть, не глядя:

— Проход по пропускам. Прошений не берём, канцелярия в левом крыле, с посада — по вторникам.

— Я не с прошением, — сказала я. — Я к лорду Зарецкому. Скажи ему, что пришла Ждана. Просто назови имя.

Он усмехнулся — устало, заученно, как усмехаются на слова, которые слышали много раз.

— Самозванка, что ли? — сказал он почти беззлобно. — Ходят тут. Лорд, слышь, женат не был. Это всякий знает.

И вот тут я его поймала. Не на злобе — на шве.

Понимаете, когда человек вспоминает что-то настоящее, память у него живая, с зазубринами: он щурится, ищет слово, цепляет ненужную мелочь — где стоял, чем пахло, кто ещё был рядом. А когда человеку память вложили, пересказ выходит гладкий, как переписанный набело лист: без запинки, без сносок, без единой лишней крошки. «Это всякий знает» — сказал стражник точно так, как говорят затверженное, а не пережитое. Я видела этот гладкий шов у него в глазах так же ясно, как вижу его сейчас на бумаге под пером.

— Тебя как звать? — спросила я.

— Ну, Первуша, — сказал он, растерявшись от того, что самозванка спрашивает не о том.

— Первуша, а помнишь ли ты, кто тебе сказал, что лорд не был женат? Вот прямо кто, когда, где ты стоял?

Он открыл рот. И — я смотрела в упор — не нашёл. У живой памяти всегда есть за что зацепиться. У вложенной — нет дна. Он поморгал, нахмурился, и на дне его глаз мелькнуло то, что мелькает у всех, кого чужая рука подчистила: короткий испуг, будто оступился в темноте на знакомой лестнице.

— Всегда знал, — сказал он наконец, и сам услышал, как это глупо звучит. — Ну… как-то знал.

— «Как-то», — повторила я тихо. — Вот и я про то же, Первуша. Позови старшего.

Он позвал — не потому, что поверил, а потому, что я задела то место, которое у подчищенных людей ноет, даже когда они не помнят отчего. Пришёл старший, седой, с цепким взглядом, из тех, кто служит при дворе так давно, что помнит и прежних господ. Я назвала ему три вещи, которых самозванка знать не может: тайное имя, которым домашние зовут лорда Ратибора; шрам у него под левой лопаткой в форме трилистника; и то, что во дворе дома Зарецких, у восточной стены, растёт старая яблоня, которую он не велит подрезать, потому что под ней просил моей руки. Старший слушал, и лицо у него делалось всё длиннее, потому что про яблоню и трилистник в бумагах канцелярии не пишут.

— Веди, — сказал он мне после долгого молчания. — Под мой ответ. Только, девка, — он поглядел на Ладу, — если ты и вправду самозванка, тебя за ребёнком не спрячут. Двор нынче про память строг.

— Про чужую строг, — сказала я. — А про свою — дырявый. Веди.

Мы шли через караульный двор, и я читала лица, мимо которых проходили, как читают открытую книгу, — привычка, от которой не отделаться. Половина стражи глядела на меня со скользящим равнодушием, каким глядят на пустое место; но двое-трое, из старых, хмурились мне вслед, будто силились почесать зудящее место между лопаток, куда не дотянуться. Этих двор подчистил недавно и наскоро — шов ещё свежий, ещё чешется. Тех, кого чистили давно, уже не беспокоит: заросло. Я шла и складывала про себя: значит, чистили не разом. Значит, работали месяцами, слой за слоем, аккуратно, как штукатур замазывает трещину за трещиной, чтобы стена выглядела целой. Такую работу не сделаешь в сердцах, за ночь. Её делают долго, спокойно и по плану. У меня похолодело внутри — не от страха, а от размаха. Против меня стоял не вспыльчивый враг. Против меня стоял терпеливый.

Дворцовый двор дома Зарецких я знала лучше, чем свой посад, — только теперь он смотрел на меня как на воровку. Слуги, что качали Ладу на коленях, отводили глаза. Ключница, что учила меня заваривать травы для Ратибора, прошла мимо, поджав губы, и я видела: у неё тоже

шов, свежий, поперёк того места, где она меня любила. Их всех подчистили. Весь дом. Год назад здесь жила семья, а теперь жила причёсанная память о том, что никакой семьи не было.

Лада притихла у меня на руках. Дети чуют, когда дом их разлюбил.

Его вывели ко мне в малую палату — и вот тут, сколько бы я ни готовилась, сердце всё равно ухнуло вниз.

Ратибор Зарецкий вошёл, и он был он — и не он. Та же тяжёлая золотистая грива, тот же разворот плеч, та же янтарная искра под кожей у висков, что выдаёт придворного дракона дома Зарецких даже в человечьем облике. Но глаза. Глаза у моего мужа всегда были памятливые, тёплые, полные всего, что он про меня знал. А эти смотрели на меня вежливо и пусто, как смотрят на просительницу, которую велено выслушать и отпустить. В них не было меня. Совсем. Там, где четыре года стояла я, была вычищенная пустота — тот самый шов, только огромный, во всю душу, свежий, страшный.

— Мне доложили, — сказал он ровным, чужим голосом, — что некая женщина настаивает на родстве. Я не хочу быть жестоким. Но я не помню вас, сударыня. Я вообще… — он запнулся, и в этой запинке, единственной живой на всём его пустом лице, мелькнула его настоящая мука, — я многого не помню. Это моё несчастье, а не ваш козырь.

— Я знаю, что не козырь, — сказала я. — Я пришла не козырять, я пришла проверить. У тебя под левой лопаткой шрам трилистником — ты не видел его сам ни разу, его видела только я. Спроси лекаря, есть ли шрам. Нет — я самозванка, гони меня. А есть — спроси себя, откуда посадская переписчица знает то, что видно только жене.

Что-то дрогнуло в его лице — не память, а любопытство человека, которому назвали проверяемое. Он открыл было рот. И я успела заметить, как на самом дне пустых глаз шевельнулась живая рябь, — будто засыпанный колодец отзывался на всякое настоящее слово, глухо, из-под земли.

— Ратибор, — сказала я, и голос у меня не дрогнул только потому, что я двадцать четыре года училась не плакать раньше времени. — Посмотри на девочку. Не на меня. На неё.

Он посмотрел на Ладу. И Лада, моя Лада, которая целый год спрашивала, где тятя, вдруг перестала жаться ко мне, потянулась к нему всем телом через всю палату и сказала то, ради чего, я думаю, я и притащила её через полстраны:

— Тятя. Ты меня забыл?

И что-то произошло.

Я это видела — я всё вижу, что делается с памятью. По его пустому, вычищенному лицу прошла судорога, короткая, как рябь по воде, — будто там, на самом дне засыпанного колодца, шевельнулась живая вода. Он не вспомнил. Но что-то в нём — не голова, что-то глубже, дракон, кровь, — на миг узнало этот голос. Рука его дёрнулась к девочке. Губы шевельнулись, будто пробуя забытое слово.

— Я… — сказал он.

— Милорд, вам вредно волноваться.

Голос вошёл в палату раньше человека — мягкий, заботливый, обволакивающий, как тёплое масло. Канцлер Творимир Гощин был немолод, гладок и приятен во всём: в округлом лице, в негромком голосе, в том, как он клал руку лорду на плечо — по-отечески, спокойно, хозяйски. Я знала это имя. Я помнила это имя дословно — из тех дней, когда всё ещё было цело, когда Творимир Гощин, канцлер-памятчик, хранитель памятных книг двора, приходил к нам в дом такой же обходительный и улыбался мне так же тепло, за месяц до того, как я потеряла мужа.

— Лекари говорили: никаких потрясений, — сказал он ласково, уводя Ратибора к дверям, и лорд подчинился, как подчиняются тому, чьей памяти доверяют вместо своей. А потом канцлер обернулся ко мне, и улыбка его не сдвинулась ни на волос, но глаза стали внимательные

ные и холодные. — А это, стало быть, и есть та самая самозванка, о которой я предупреждал двор. С ребёнком. Умно. Дитя разжалобит кого угодно.

— Здравствуйте, канцлер, — сказала я. — Вы меня помните?

— Разумеется, нет, — сказал он гладко, без единой сноски. — Я вас впервые вижу.

И вот тут — при всём моём горе, при пустых глазах мужа, при дрожащей у меня на руках дочери — я едва не рассмеялась, потому что впервые за год поймала не тень, не отголосок, а самого зверя за хвост. Канцлер солгал. Но солгал не как лгут злодеи в сказках — нет. Он сказал «я вас впервые вижу» тем самым гладким, бесшовным голосом, каким говорят вложенную память. Только у стражника Первуши память была чужая, подложенная. А у канцлера Творимира Гощина она была своя, настоящая, — и он спокойно, привычно врал поверх неё, как врёт тот, кто эти швы кладёт сам.

Он не был жертвой чистки. Он был тем, кто чистит.

Это меняло всё. Целый год я думала, что борюсь с несчастьем — с болезнью, с бедой, которую лечат травами и терпением. А оказалось, я борюсь с человеком, живым и тёплым, который каждое утро смотрит в глаза моему мужу и кладёт ему в голову ложь, как кладут кирпич. У несчастья нет умысла. У человека умысел есть, а значит, есть цель, и её можно узнать. Мне вдруг стало не так страшно и очень зло. И я решила, что больше не буду просить. Весь этот двор забыл, а я помнила — всё, дословно, и до моей памяти канцлер пока не дотянулся.

— Конечно, впервые, — сказала я тихо. — Простите, обозналась.

Я склонила голову и сделала вид, что сдаюсь, потому что моя бабка, тоже памятливая, учила меня: если увидела охотника раньше, чем он тебя, — не кричи «вижу», а запомни, где он стоит. Я запомнила, где он стоит. Я запомнила, как он держит Ратибора за плечо — не бережно, а крепко, как держат вещь, которую боятся выронить. Я запомнила, что дом Зарецких, весь, до последней ключницы, вычищен начисто, а канцлер — единственный, в ком память цела. И я запомнила самое главное, то, ради чего стоило прийти и стерпеть его улыбку: полсекунды назад мой забытый муж дёрнулся к нашей дочери. Значит, засыпанный колодец не высох. Значит, вода на дне ещё есть.

— Уведите их, — распорядился канцлер стражникам, снова само добродушие. — Мягко. И, сударыня, — он приостановился у дверей, — послушайте отеческого совета. У вас славная девочка. Дворцовые тяжбы — не место для славных девочек. Память — вещь хрупкая. Особенно детская. Езжайте домой, забудьте эту печальную историю, и я обещаю, что и о вас все забудут, тихо и по-доброму.

— Спасибо за заботу, — сказала я.

Пусть думает, что я уезжаю. Пусть вычеркнет меня из своих аккуратных книг и успокоится. Я не гордая: мне не надо, чтоб он меня боялся. Мне надо, чтоб он меня недооценил.

А про себя, глядя в его тёплые, ничего не выдающие глаза, подумала: вот ты и проговорился, памятчик. Ты пугаешь меня не судом, не темницей, не палачом. Ты пугаешь меня забвением. Ты грозишь стереть мою дочь. Так грозит только тот, кто сам это умеет.

Нас вывели за ворота, и они лязгнули за спиной, отрезав меня от мужа, который меня не помнил, и от дома, который меня разлюбил по чужому приказу. Лада уткнулась мне в шею и заплакала — тихо, привычно, как научилась плакать за этот год, чтоб не тревожить маму.

— Тятя меня забыл, — всхлипнула она.

— Не забыл, зайка, — сказала я, и это была чистая правда, я в ней была тверда, как ни в чём на свете. — У тяти украли память. Это разные вещи. Забыл — это когда высохло. А у тяти — засыпали. А что засыпали, то можно и откопать. Слышишь? Мы с тобой откопаем.

Она затихла, поверив, потому что дети верят матерям дольше, чем стоило бы. А я шла и держала её, лёгкую, тёплую, доверчивую, и считала про себя не горе — горе я отложила на потом, — а улики: шов у стражника, чешущиеся швы у старой стражи, целая память у одного канцлера, судорога в мужниных глазах от голоса дочери, угроза забвением вместо угрозы

судом. Сумма выходила одна: моего мужа не постигла болезнь. Моего мужа обокрали. И вор всё ещё стоял у сокровищницы с ключом в руке и улыбался мне вслед.

Пока нас вели через двор, я смотрела на восточную стену — и вот она, яблоня. Старая, кривая, необрезанная, с той самой развилкой, на которую он подсаживал меня в первое лето, чтобы я дотянулась до верхнего яблока: нижние, сказала я тогда, рвут все, а мне хочется то, до которого никто не дотянулся. Он засмеялся и сказал: «Ты вся такая, Ждана. Тебе подавай то, что другие бросили». В воду глядел. Теперь я тянулась к тому, что бросили все, — к нему самому, забытому, списанному, отданному чужой памяти. Яблоня стояла целая. А память, что под ней родилась, вырезали. Из всего двора одна я да старое дерево ещё знали, что тут было.

Я стояла у чужих ворот, в чужом нарядном городе, одна, с ребёнком, объявленная самозванкой, без единого союзника, против канцлера, что держит в кулаке и двор, и память моего мужа. По всем приметам мне надо было послушаться и уехать.

Но я памятливая. А памятливые, знаете ли, не умеют делать вид, что правды не было. Я помнила яблоню, под которой он просил моей руки. Я помнила тайное имя. Я помнила, как две недели назад, ещё дома, Лада сказала во сне «тятя» — и я решила: хватит.

Я поправила дочь на бедре, вытерла ей нос и пошла не на почтовый двор, откуда телеги шли обратно в посад, а в другую сторону — к постоялому двору у Правого моста, где, как я слышала ещё в дороге, уже который день стояла коронная гостья: молодая женщина с далёкого западного приграничья, которую сам император вызвал в столицу по странному делу — рассудить, что стряслось с памятью одного забытого дракона. Хранитель какого-то лунного зеркала. Заряна из Зоряни.

Если во всей столице был хоть один человек, который поверит, что память крадут, — то это была она.

Глава 2. Дракон, который забыл себя

Заряны из Зоряни в тот вечер на постоялом дворе не было — её, коронную гостью, поселили за дворцовыми стенами, за теми же, что и моего мужа. Мне сказали об этом на конюшне у Правого моста, и я, чтобы не тратить последние медяки зря, сняла угол в дешёвой каморке под лестницей, уложила Ладу на сундук, укрыла своим платком и села у окна ждать утра. Я умею ждать. Памятливые вообще терпеливы: когда помнишь всё дословно, поневоле знаешь, что всё проходит, — и хорошее, и дурное, и вот эта ночь тоже пройдёт.

Прошла она не так, как я думала.

Ближе к полуночи в дверь каморки постучали — тихо, костяшкой пальца, как стучит тот, кто не хочет, чтоб слышали соседи. Я открыла, держа за спиной нож, которым режу хлеб, — посад научил осторожности. На пороге, в простом тёмном плаще с надвинутым капюшоном, без свиты, без стражи, стоял мой муж.

— Я не разбудил ребёнка? — спросил он шёпотом.

У меня перехватило горло. Не от страха — от нелепости. Мужчина, за которым я была замужем четыре года, стоял на пороге и спрашивал разрешения, будто чужой. Впрочем, он и был теперь чужой.

— Не разбудил, — сказала я тихо. — Спит. Заходи. Только тихо.

Он вошёл, пригнувшись под низкой притолокой, и в тесной каморке сразу стало не продохнуть от его присутствия — от той тёплой, чуть отдающей грозой силы, что я так любила и по которой так тосковала. Он огляделся — сундук, платок, спящая девочка, — и что-то в его лице дрогнуло, то же самое, что днём: не память, глубже.

— Я сбежал, — сказал он, будто извиняясь. — От своих. Мне не велено вас искать. Мне сказали, что вы опасны, что вы… — он поморщился, — что вы травили меня. Медленно, чтоб завладеть домом. Мне это рассказали очень подробно.

— И ты пришёл к той, что тебя травила, ночью, один, без стражи, — сказала я. — Не слишком осторожно для человека, которому дорога жизнь.

— В том и дело, — сказал он глухо. — Я не верю, что вы меня травили. То есть — верю, мне это помнится ясно, ярко, я помню даже вкус того яда во рту. Но, госпожа Ждана, я вам скажу странное. У меня всё помнится ясно. Всё. Вся моя жизнь — подробная, ровная, как переписанная книга. И вот это меня и пугает больше всего. Потому что человек так не помнит.

Я села на сундук у ног спящей Лады и смотрела на него, и во мне всё дрожало от одной мысли: он сам почувствовал шов. Не всякий чувствует. А он — дракон дома Зарецких, памятливый по крови, — нутром чуял неправильность, как чует фальшивую монету тот, кто всю жизнь имел дело с настоящими.

— Сядь, — сказала я. — Вон табурет. И слушай, я скажу тебе, как оно устроено, без слёз и без «вспомни меня». Ты прав. Человек так не помнит. Настоящая память — рваная. В ней дырки, в ней «а как его звали, вертится же на языке», в ней спорят двое, кто где сидел на свадьбе. Настоящая память цепляется за ерунду: за то, что на поминках пересолили кашу, за то, что в день, когда тебе сказали важное, у тебя чесался комариный укус на щиколотке. А та память, что тебе ясная и ровная, — она без укусов. Её писали набело. Спроси себя: помнишь ли ты, как я тебя травила, — с ерундой? С комариным укусом? Или гладко, как заучил?

Он молчал долго. Я видела, как он проверяет себя внутри, как перебирает своё «ясное» прошлое и не находит в нём ни одной живой зазубрины.

— Гладко, — сказал он наконец, и голос у него сел. — Как заучил. — Он посмотрел на меня, и в глазах у него был ужас человека, у которого только что качнулась под ногами единственная опора. — Если моя память лжёт про яд… то где кончается ложь? Что ещё во мне

гладкое? Госпожа Ждана, я не помню своей матери. Мне сказали, как её звали, и я запомнил имя, но я не помню её рук. Я не помню, как учился летать. Дракон не помнит, как учился летать! Я смотрю на свой герб и заучиваю, что он мой, но он мне не роднее вывески на лавке. Кто я, если у меня нет ни единого настоящего воспоминания?

— Ты — тот, у кого их украли, — сказала я. — Это разные вещи, слышишь? Забыть — это когда высохло само. А у тебя вычерпали и налили чужого. Я вижу это, Ратибор. Это мой дар, будь он неладен: я вижу, где память живая, а где подложенная. У тебя во всю душу шов. Годовой, и свежие стежки поверх. Кто-то очень терпеливый целый год вычерпывал тебя и наливал вместо тебя — себя.

— Год, — повторил он. — Мне говорят, я год как очнулся от долгой болезни.

— Тебе много чего говорят, — сказала я. — И знаешь, кто говорит громче всех?

Он не ответил, но по тому, как дёрнулся уголок его рта, я поняла: знает. Тело помнит того, кто держит его за плечо каждое утро, даже когда голова заучила, что это добрый опекун.

Кое-что я поняла и без подсказки — по тому, как у Ратибора при слове «опекун» на миг стекленел взгляд, как стекленеет он у человека, которому в одно место памяти клали чаще всего. У подчищенных так: где переписывали много раз, там память самая гладкая и самая ломкая разом. Тронь — и либо встанет стеной заученного, либо треснет. Чем тронуть, чтоб треснуло, а не встало стеной, я пока не знала. Но я умела слушать, а слушать собиралась в оба уха.

Я не стала произносить имя. Рано. Скажешь такому имя раньше времени — и подложенная память тут же встанет стеной: «это мой благодетель, ты клевещешь». Я знала это по бабке: подчищенного нельзя лечить в лоб. Его надо подводить к краю его же ясной памяти и давать самому заглянуть за шов.

— Давай проще, — сказала я. — Ты пришёл проверить шрам. Проверил?

Он медленно кивнул.

— Спросил лекаря. Под левой лопаткой. Трилистником. — Он смотрел на меня, и лицо у него было такое, будто он падает и не знает, где дно. — Откуда вы знаете то, что видно только жене?

— Оттуда, — сказала я, — что я и есть жена. Но я не прошу верить на слово. Слову ты теперь не хозяин, у тебя слов чужих полна голова. Верь тому, что слово подделать не может. Смотри.

Я встала, подошла к сундуку и взяла Ладу на руки — сонную, тёплую, тяжёлую. Она заворочалась, приоткрыла глаза, увидела его — и без всякого страха, как видят во сне продолжение хорошего, протянула к нему руку и снова сказала то единственное слово:

— Тятя.

И я смотрела, как это слово падает в моего мужа, будто камень в засыпанный колодец, — и как глубоко, глубоко под гладким слоем чужой памяти отзывается глухой всплеск. Живая вода. Она там была. Её не вычерпали до конца, потому что до конца её не вычерпать — то, что дракон помнит кровью, а не головой, чужой рукой не достать.

Он поднял руку — медленно, как во сне, — и коснулся Ладиной ладошки. И замер. И зажмурился. И я видела по лицу, как в нём борются двое: заученный человек, которому сказали «у тебя нет детей», и кровь, которая знает.

— Почему, — сказал он хрипло, не открывая глаз, — почему, когда она говорит «тятя», мне не страшно? Мне всё время страшно. С той ночи, как я очнулся, мне страшно каждую минуту, будто я иду по льду и подо мной трещит. А сейчас — не трещит.

— Потому что это единственный лёд под тобой, который настоящий, — сказала я. — Всё остальное тебе нарисовали. А это — своё. Держись за это, Ратибор. Кто бы что тебе ни говорил — держись за то, отчего не страшно. Оно не соврёт.

— Скажите мне что-нибудь, — попросил он вдруг тихо, как просят милостыню. — Маленькое. Не про яд, не про суд, не про дом. Маленькое и настоящее. Про меня. Я хочу знать, каково это — когда обо мне помнят по-настоящему.

Я подумала. Из тысячи вещей, что я про него помнила, надо было выбрать не самую большую, а самую живую, с укусом.

— Ты не ешь горелую корку, — сказала я. — С краю пирога, где подгорело, обрезаешь и отдаёшь мне, а мне горелое как раз и любо. Ты каждый раз удивляешься, что мне любо, и каждый раз обрезаешь и отдаёшь. Четыре года. И ещё: когда думаешь, ты морщишь не лоб, а нос — вот как сейчас. А когда я тебе это говорю, трёшь переносицу, будто я тебя поймала. Вот, трёшь.

Он отдёрнул руку от переносицы, как мальчишка, и засмеялся — коротко, изумлённо, впервые за весь этот день, — и смех был его, настоящий, я помнила его дословно, и оттого, что он вырвался сам, помимо всей вложенной ровности, у меня защипало глаза.

— Я этого не помню, — сказал он. — Но верю, что это правда. Впервые за год верю чему-то не потому, что сказали, а потому, что оно… подходит. Как ключ к замку. Гладкая память скрежещет. А это подошло.

— Так и лечат, — сказала я. — Не силой. Ключ за ключом.

Он смотрел на меня, и я видела, как в нём складывается что-то похожее на доверие — хрупкое, как первый лёд, и как тут же поверх наползает заученная тревога: беги, тебе сказали, она опасна. Два прошлых боролись в нём прямо у меня на глазах, и я ничем не могла помочь — только стоять и быть настоящей. Против гладкой лжи у меня было одно оружие: я не сбиваюсь. Что бы он ни спросил, я отвечу слово в слово, потому что помню слово в слово. А вложенная ложь при повторных вопросах плывёт — я вижу, как она плывёт. Правда стоит на месте. Путается тот, кто врёт. Вот и вся моя ворожба.

Он открыл глаза, и они были влажные, и в них — к концу этого страшного дня — было не пусто. Была трещинка. Живая.

А потом он отнял руку. Я видела, чего это ему стоило.

— Я не могу, — сказал он, вставая, и голос у него снова заученно выровнялся, будто кто-то невидимый поправил ему строку. — Простите. Я пришёл… сам не знаю зачем. Мне сказали, вы опасны. Мне сказали, я болен и мне вредно. Мне сказали столько всего, и всё ясно, всё складно, и я не знаю, чему верить, а вы… вы рвёте мне последнюю опору, а взамен даёте девочку, которая зовёт меня тятей, и от этого мне хочется выть. Я не готов. Я трус. У беспамятного одна защита — держаться того, что сказали. Отпустите меня.

— Иди, — сказала я, прижимая Ладу к себе. — Я не держу. Я памятливая, а не жестокая. Только одно унеси с собой, дракон. Я тебя за этот год ни разу не искала со слезами и не искала с ядом. Я искала тебя с дочерью на руках через полстраны, потому что ты — наш дом. Вспомнишь ты меня или нет — это уже как выйдет. Но дом у тебя есть. Целый. Просто засыпанный.

Он стоял в дверях, спиной ко мне, и плечи у него были — как у человека, который держит на себе тяжесть, которую не помнит, откуда взял.

— У меня нет обручья, — сказал он вдруг, не оборачиваясь. — Я не знаю, почему это сказал. Утром надел перчатки и почувствовал: чего-то не хватает на пальце. Пусто. Будто там годами что-то было, а теперь голое место. Как этот шрам, про который вы знаете. Голое место, которого я не помню.

У меня зашлось сердце. Обручье. Его обручье памяти — то, что должно сидеть у него на пальце и держать его память снаружи, — пропало. И тело, дракон, знало про эту пропажу так же, как знало про Ладу.

— Спроси себя, — сказала я очень осторожно, чтоб не спугнуть, — кто снимал с тебя перчатки, пока ты болел. У кого были твои руки, пока ты был пустой.

Он не ответил. Он ушёл в ночь так же тихо, как пришёл, — заученный человек, уносящий на пальце память о том, чего не помнит.

Я не спала до утра. Сидела с Ладой на руках и складывала. Он чувствует шов сам — это хорошо, это редкость, это шанс. Он лишился обручья — и это уже не догадка, это улика: у кого его обручье, тот и держит его память. И он приходил ночью, тайком, сбежав от своих, — а значит, за ним следят, и значит, тот, кто следит, боится ровно того, что случилось: что рядом со мной и с дочерью в моём муже начинает шевелиться живая вода.

Под утро в дверь снова стукнули — иначе, старчески, дважды. На пороге стоял сухой седой старик в тёмном платье дворцового архивариуса, с восковой свечой в руке и с лицом человека, который слишком долго живёт при чужой памяти, чтобы не научиться беречь свою.

— Ты Ждана, — сказал он утвердительно, разглядывая меня из-под белых бровей. — Переписчица. Жена лорда Ратибора. Я тебя помню, девочка. Меня зовут Горазд, я хранил книги дома Зарецких сорок лет, ещё при его отце. Меня не смогли подчистить — я слишком стар и слишком памятлив, во мне уже нечего ровнять, одни зарубки. — Он оглянулся на тёмную лестницу и понизил голос. — Лорд вернулся за полночь сам не свой. А канцлер Гощин каждое утро, чуть свет, запирается с ним наедине на час. Каждое утро, девочка. Целый год. Без лекаря, без свидетелей. И после каждого такого утра лорд помнит на день меньше себя и на день больше — того, что канцлеру надобно. Я старик, я не воин. Но я архивариус, и я знаю, когда книгу переписывают набело поверх живого текста. Если ты пришла вернуть лорду его страницы — я тебе помогу. Только тихо. У памятчика длинные руки и короткая совесть.

Я смотрела на этого старика, первого за год человека при дворе, у которого память была своя, целая, с зарубками, — и в первый раз с тех пор, как за мной лязгнули ворота, почувствовала, что я не одна.

— Заходи, Горазд, — сказала я. — Только шёпотом. Дочь спит. И расскажи мне про эти утренние часы всё, что помнишь. Всё, до последней зарубки.

Горазд сел на край сундука, поставил свечу на пол и заговорил негромко, как читают опись.

— Год с лишним назад лорд слёг, — сказал он. — Двор сказал: болезнь, сон, беспамятство от переутомления. Я, старый дурак, поверил, потому что хотел: канцлер Гощин был при нём неотлучно, кормил с ложки, сидел ночами. Заботливый. Я сорок лет при этом дворе и скажу тебе, чему научился: бойся не того, кто кричит, а того, кто заботлив не по чину. Гощин — памятчик. Он хранит памятные книги двора: кто кому что клялся, кто кому сколько должен, чьё слово весит. Вся тонкая память столицы у него в сундуках. И крафта при тех книгах есть — старая, недобрая: не только читать чужую память, но и править. Испокон памятчики клялись править лишь явные описки в книгах, не в людях. Гощин преступил.

— Как ты понял? — спросила я.

— По мелочи, — сказал старик и усмехнулся сухо. — Как всегда по мелочи. Два года назад лорд крепко поспорил с канцлером при мне — из-за податей с речных пристаней: Гощин хотел прибрать их «в казну», лорд не давал, говорил, это грабёж вдов. А прошлым летом, когда очнулся, подписал ему эти пристани сам, с улыбкой, и на мой вопрос ответил, что всегда так и хотел. Ответил без единой зарубки. Тогда я впервые почуял: книгу переписывают. А тебя к тому времени уже услали «на время болезни», и про тебя стали забывать. Была жена, была у лорда дочка — а стало «лорд не был женат», и весь дом заучил это за одну зиму, ровно и разом. Один я остался, кого не переправить: во мне сорок лет зарубок, меня быстрее убить, чем переписать.

— Зачем ему это? — сказала я, хотя ответ уже знала; но хотела услышать от того, кто помнит.

— Регентство, — сказал Горазд, и в темноте каморки это слово легло камнем. — Лорд Ратибор — глава дома Зарецких, а дом Зарецких держит память двора; кто правит домом,

тот правит тем, что двор помнит и что забывает. Твоя дочь — единственная наследница по крови. Пока лорд пуст и послушен, а наследница объявлена самозванкиным отродьем, канцлер один стоит между троном и памятью всей столицы. Короны он не хочет. Он хочет большего: быть тем, кто решает, что было, а чего не было. А это, поверь старому архивариусу, власть пострашнее короны.

— Почему ты пришёл именно нынче ночью? — спросила я.

— Потому что вчера утром канцлер велел готовить «большое поновление», — сказал Горазд и закашлялся. — Так у памятчиков зовётся, когда правят не строку, а всю книгу разом, начисто, до чистого листа. Он больше не хочет подчищать лорда по крупице каждое утро. Он хочет стереть его до дна — раз и навсегда, чтоб не текло обратно. После такого из лорда Ратибора не откопать уже ничего: не засыпанный колодец, а срытый холм. И назначено это, я слышал своими старыми ушами, на день оглашения регентства — через двенадцать дней, на новолуние, когда память, по их книгам, всего податливей.

Двенадцать дней. Я сидела в темноте, держала спящую дочь и слушала, как далеко на дворцовой башне бьют четыре, и складывала последнюю строку: у меня двенадцать дней вернуть мужу всё украденное — иначе его сотрут начисто, при всех, по закону, и назовут это милосердием к больному. А из союзников — я, посадская переписчица, старик, которого назавтра могут убить, спящая трёхлетка да коронная гостья, которую я ещё в глаза не видела.

— Двенадцать дней, — сказала я вслух. — Значит, начинаем сегодня. Горазд, мне нужно к коронной гостье, к той, что зовут Заряной. Говорят, она умеет видеть, где память лжёт. Если правда — нас станет двое зрячих. А двое зрячих уже могут кое-что доказать даже слепому двору.

Глава 3. Самозванка

Горазд не ушёл до рассвета. Он сидел на краю сундука, грел сухие пальцы о свечу и рассказывал, а я слушала и укладывала каждое его слово на своё место, как укладывают листы в папку прошений: по числам, по именам, по тому, кто кому что сказал. Когда свеча прогорела до половины, я спросила то, что не давало мне покоя с той минуты, как он постучал:

— Как ты меня нашёл? Я в столице второй день, и никто, кроме хозяйки этой каморки, не знает, где я сплю.

— Лорд сказал, — ответил старик и пожевал губами. — Не прямо, конечно. Прямо он теперь ничего не говорит, разучился. Вечером, перед тем как уйти, он спустился ко мне в архив и спросил, где у Правого моста останавливаются посадские. Спросил так, будто ему надо отправить письмо с обозом. Я сорок лет служу этому дому, девочка, и знаю, как Зарецкие спрашивают про обозы. Потом я видел из окна, как он перелез через садовую стену, будто мальчишка. Дождался, пока вернётся. И пришёл сам.

— Он мог бы взять тебя с собой.

— Не мог, — сказал Горазд. — Он мне не верит. Он никому не верит, кроме канцлера, а канцлеру верит головой, не сердцем. Сердцем он пока ни во что не верит. Сердце у него, как бы сказать… на хранении.

За окном посерело. Лада заворочалась на сундуке, села, сонно потёрла глаза кулаками и сказала, что хочет есть. У меня оставалась краюха, вчерашняя, с подгоревшим краем, — я отломила ей мякиш, а корку взяла себе, и Горазд посмотрел на эту корку так внимательно, что я поняла: про горелые корки в доме Зарецких знали не только мы с Ратибором.

— Помню, — сказал старик тихо, отвечая на мой взгляд. — Лорд в детстве отдавал горелое кухонной собаке. А потом стал отдавать тебе. Повариха смеялась, что ты у нас вместо собаки.

— Спасибо, — сказала я. — Очень лестно.

Он в первый раз за ночь улыбнулся, и улыбка у него вышла кривая, с щербиной, живая.

Пока Лада ела, я заплела косу, умылась холодной водой из кувшина и посмотрела на себя в осколок зеркала, прибитый над рукомойником. Серые глаза, которые бабка звала «счётными». Тёмно-русая коса, растрёпанная за дорогу. Пальцы в чернильных пятнах — их не отмыть, я шесть лет кормилась перепиской прошений, и чернила въелись в кожу, как въедается привычка. За этот год я похудела, и скулы стали острее. Женой лорда я не выглядела. Я выглядела в точности тем, кем меня называли в бумагах канцелярии: посадской переписчицей, которая что-то себе вообразила.

— Гостевые палаты у Лебяжьего пруда, — сказал Горазд, когда мы вышли в сырой утренний переулок. — Через садовую калитку. У меня от неё ключ, архиву положено: оттуда ближе к кладовым. Пойдём сейчас, пока канцлер у лорда. В этот час его люди не смотрят по сторонам.

Я не стала спрашивать, откуда он знает, куда смотрят люди канцлера. Человек, который сорок лет живёт при чужих тайнах, знает расписание каждой.

Дворцовый сад в этот час был пуст и мокр. Липы стояли наполовину жёлтые, под ногами хлюпали листья, на лужах лежала тонкая корка льда, и Лада, пока я не успела её поймать, топнула по одной и засмеялась, когда лёд хрустнул. Мы прошли вдоль длинной оранжерейной стены, мимо пруда, по которому плавали два заспанных лебедя, и остановились у низкого крыльца в два окна. Горазд постучал трижды и отошёл в тень, будто его тут и не было.

Дверь открыл высокий худой мужчина в домашней рубахе, тёмноволосый, с ранней проседью у висков. Его глаза сначала посмотрели на старика, потом на меня, потом на Ладу, и только потом смягчились.

— Рано, — сказал он. — Но вы, похоже, не из тех, кто приходит рано без причины. Я Даэрин Веспер. Жена моя ещё не одета, но, думаю, ради ребёнка простит.

— Пусти их, — сказал из глубины палаты женский голос. — И дай девочке что-нибудь сладкое, у нас со вчера остались коврижки.

Заряна оказалась моложе, чем я думала. Ровесница мне, может, на год-другой старше, и глаза у неё смотрели не в лицо собеседнику, а куда-то чуть в сторону, в ближнее стекло: в оконную раму, в начищенный бок медного кувшина, в чашку с водой на столе. Я знала про её дар только по слухам, а слухи в посаде врут охотнее, чем люди. Говорили, будто она видит ложь в зеркалах. Она подошла, наклонилась к Ладе, которая уже вцепилась в коврижку обеими руками, и на её лице мелькнуло что-то такое тоскливое и тёплое, что я сразу спросила:

— У вас тоже дочка?

— Полгода, — сказала Заряна. — Осталась дома, с моей сестрой. Первый раз её оставила. Третий день здесь, и третий день просыпаюсь ночью, потому что мне кажется, будто она плачет. — Она выпрямилась и наконец посмотрела прямо на меня. — Вы та женщина, которую канцлер называет самозванкой.

— Я та женщина, которую он так называет, — согласилась я. — А зовут меня Ждана. Я жена лорда Ратибора Зарецкого четыре года, а это его дочь Лада. Проверьте.

Заряна не удивилась. Она взяла со стола небольшое ручное зеркало в простой оловянной оправе, повернула его так, чтобы в нём было видно моё лицо, и кивнула:

— Повторите.

— Меня зовут Ждана, — сказала я, глядя не в зеркало, а на неё. — Я жена лорда Ратибора. Лада — его дочь.

Она смотрела в стекло долго, дольше, чем было нужно, и я видела, как у неё чуть сходятся брови.

— Теперь соврите, — попросила она. — Что угодно. Маленькое.

— Меня зовут Милана, — сказала я. — Я люблю сушёную рыбу.

Заряна дёрнула уголком рта.

— Отстало, — сказала она Даэрину. — На вдох. И на рыбе особенно. — Она положила зеркало и села к столу. — Садитесь, Ждана. Вы не лжёте. Я это вижу. Беда в том, что я вижу ещё кое-что, и оно мне совсем не нравится.

Она достала из шкатулки письмо, сложенное вчетверо, с коронной печатью, обтрёпанное на сгибах, и протянула мне.

— Это пришло мне год назад, наутро после моей свадьбы. Прочтите.

Я прочла. Письмо было написано хорошим канцелярским почерком, с наклоном вправо и короткими хвостами у «у», и я механически отметила, что писал его человек, который много пишет, но мало думает о том, что пишет. В нём говорилось, что придворный дракон древнего дома три недели назад очнулся после долгого сна без памяти; что при нём находится малое дитя, которое зовёт его отцом; что двор в смятении: одни говорят — подменённый, другие — проклятый, третьи требуют суда. И что корона просит хранителя Лунного зеркала прибыть и рассудить.

— Здесь неправда, — сказала я, дочитав. — Лады при нём не было. Нас услали из столицы, когда он только слёг, и больше не пускали. Ни разу за год.

— Я знаю, — сказала Заряна. — То есть теперь знаю. А тогда поверила. — Она постучала пальцем по строке про смятение. — Посмотрите вот сюда. Год назад двор спорил. Одни одно, другие другое. Я ехала сюда и готовилась разбирать спор. А приехала — и спорить не с кем. Три дня я говорю с людьми, и все они говорят мне одно и то же, одними и теми же словами. «Лорд не был женат. Это всякий знает». Слово в слово, Ждана. Конюх, фрейлина, повар, писарь. Если бы они лгали, я бы видела. Но они не лгут. Их отражения не отстают ни на волос.

— Потому что они верят, — сказала я.

— Потому что они верят, — повторила она. — А год назад не верили. Значит, за год что-то случилось не с лордом, а со всеми ними.

Даэрин, который всё это время стоял у окна, глядя в сад, сказал, не оборачиваясь:

— Канцлер поселил нас на краю сада, подальше от дома Зарецких. Дал почётную стражу. Почётная стража стоит у нашего крыльца днём и ночью и очень почётно смотрит, кто к нам ходит. Сейчас её нет, потому что у неё смена. Через четверть часа будет.

— Горазд знает расписание, — сказала я.

— Хорошо, что хоть кто-то знает, — сухо сказал Даэрин.

Я рассказала им всё. Про ворота и стражника Первушу. Про гладкий шов у ключницы. Про то, как канцлер сказал «я вас впервые вижу» без единой запинки, хотя бывал у нас в доме. Про ночь в каморке, про шрам трилистником, про горелую корку и про пустое место на пальце, где должно быть обручье. Про «большое поновление» на новолуние, до которого оставалось двенадцать дней. Заряна слушала, не перебивая, и только один раз взяла моё зеркало и посмотрела на меня в него — когда я сказала про обручье. Потом кивнула самой себе.

— Я видела этот шов, — сказала она медленно. — Вернее, не видела, а не понимала, что вижу. У людей при дворе отражения какие-то… плоские. Будто нарисованные. Глаза есть, а глубины нет. Я думала, это столица такая. У нас на меже люди проще.

— Это не столица, — сказала я. — Это канцлер.

Почётная стража пришла через четверть часа, как и обещал Даэрин. А ещё через час пришёл посыльный в ливрее дома Зарецких, с поклоном вручил Заряне сложенный лист и удалился. Заряна прочла и протянула мне.

«Дом Зарецких, в лице опекуна при болящем главе дома канцлера Творимира Гощина, созывает родовой суд по делу о женщине, именующей себя Жданой, посадской переписчицей, и о ребёнке при ней. Суд состоится сегодня в полдень в Памятной палате дома. Дом почтительно приглашает коронную гостью присутствовать, дабы рассудить по совести и убедиться, что дому нечего скрывать».

— Быстро, — сказал Даэрин.

— Он знает, что я здесь, — сказала я. — Почётная стража доложила.

— Он хочет успеть до того, как вы научите меня видеть, — сказала Заряна и сложила лист. — Хорошо. Пойдём. Но девочку я бы оставила здесь.

— Нет, — сказала я. — Лада будет со мной. Я её год не выпускала из рук. Пусть канцлер посмотрит ей в глаза, а не прочтёт о ней в своих книгах.

Памятная палата дома Зарецких была самым красивым местом во всём дворце, и я её помнила. Высокие окна в частых переплётах, пол из тёмного дуба, натёртый так, что в нём отражались свечи, и вдоль всех стен, от пола до потолка, полки с памятными книгами в коричневых и тёмно-красных кожаных переплётах. Над главным креслом висел знак дома: раскрытая книга в золотом кольце. Четыре года назад я стояла здесь в первый раз, держась за руку Ратибора, и он показывал мне корешки: вот книга его деда, вот его прадеда, а вот та, куда впишут нас. Я тогда сказала, что у меня почерк лучше, чем у их писаря, и попросилась вписать нас сама. Мне не позволили, и Ратибор хохотал над этим неделю.

Теперь в главном кресле сидел канцлер.

По правую руку от него, на скамье, сидели три старика из боковых ветвей дома — дальние родичи, которых я видела на нашем обряде и которые теперь смотрели на меня с вежливым недоумением. У стены стояли свидетели: ключница Устинья в праздничном переднике, лекарь Онуфрий, седой и сгорбленный, и сухой человек в сером кафтане канцелярии, которого я не знала. На отдельном столике перед креслом лежала раскрытая книга — толстая, в тёмно-красной коже, с медными застёжками. Я узнала её по корешку. Книга нашего поколения.

— Коронная гостья, — сказал канцлер, вставая навстречу Заряне, тем же тёплым и мягким голосом, что и вчера. — Благодарю, что почтили. Дом Зарецких рад любому свету в этом печальном деле.

— Мне понадобится свет в буквальном смысле, — сказала Заряна. — И поверхность, в которой видно тех, кто говорит.

— Всё, что угодно.

Он сам велел принести большое серебряное блюдо, начищенное до зеркального блеска, и поставить его на подставку так, чтобы в нём отражалось место для свидетелей. Он сделал это охотно, даже радушно, и вот это радушие меня насторожило больше всего. Человек, который боится зеркала, не несёт его сам.

Суд начался.

Сначала говорила ключница Устинья. Она вышла к блюду, поправила передник и сказала, глядя в пол, что служит в доме Зарецких двадцать два года, знает каждую простыню и каждую ложку и что никакой жены у лорда Ратибора не было никогда. Что в доме не было ни детской, ни кормилицы, ни детских вещей. Что эту женщину, — она мотнула подбородком в мою сторону, — она видит впервые.

— Устинья, — сказала я тихо. — Ты учила меня заваривать для него ромашку с мятой. Ты говорила, что мяты надо класть на щепоть меньше, чем кажется, иначе он морщится. Ты сама вязала Ладе первые носки, серые, с красной полоской.

Ключница подняла на меня глаза, и в них не было ни злобы, ни узнавания. Только усталое, вежливое терпение.

— Не было такого, — сказала она. — Не вязала я. Простите, сударыня.

Я посмотрела на Заряну. Заряна смотрела в блюдо, и лицо у неё было несчастное.

— Отражение не отстаёт, — сказала она негромко. — Она говорит то, что знает.

По скамье стариков прошёл шелест.

Потом вышел лекарь Онуфрий. Он кашлял, шаркал и долго устраивался у блюда, а потом сказал своим дребезжащим голосом, что за сорок лет практики в доме Зарецких принял многих детей, но никогда не принимал ребёнка у жены лорда Ратибора, потому что жены у лорда Ратибора не было.

— Онуфрий, — сказала я. — Лада родилась в грозу, в конце лета. Ты пришёл мокрый до нитки и первым делом попросил сухие носки. Ты сказал, что девочка крикливая и, значит, будет жить долго. Ты держал её первым.

Старик заморгал. Я видела, как он ищет, за что зацепиться, — и не находит. Ни грозы, ни носков, ни крикливой девочки. Там, где у него должна была лежать эта ночь, было гладкое, пустое место без единой зазубрины, и он смотрел на меня так, как смотрят на человека, который рассказывает чужой сон.

— Не помню такого, — сказал он растерянно. — Простите. Не было этого.

— Не отстаёт, — сказала Заряна ещё тише.

Сухой человек из канцелярии оказался старшим писарем Елизаром, и он говорил дольше всех. Он рассказал, что лично вёл переписку по делу о притязаниях посадской Жданы, что трижды отправлял ей уведомления о ложности притязаний, что сверялся с памятной книгой дома и что в книге нет ни записи о браке, ни записи о рождении. Говорил он гладко, по пунктам, как читают опись, и я узнала его почерк, когда он протянул суду копии тех самых бумаг. Наклон вправо, короткие хвосты у «у». Тот же почерк, что в письме короны к Заряне.

Это я отложила на потом.

— Коронная гостья, — сказал канцлер и повернулся к Заряне, мягко разведя руками. — Вы видели свидетелей. Лгут ли они?

Заряна молчала. Я видела, как ей не хочется отвечать. Но она была хранителем истины, а хранитель истины не врёт даже тогда, когда правда работает против неё.

— Нет, — сказала она. — Они не лгут.

Шелест на скамье стал гулом. Один из стариков, самый толстый, наклонился к соседу и что-то зашептал, кивая на меня. Канцлер слегка склонил голову, будто выражая сочувствие, и в этот миг я наконец поняла, зачем он сам принёс серебряное блюдо. Он знал. Он знал, что зеркало Заряны ловит ложь, а не чужую память. Его свидетели не лгали. Они честно, всей душой верили тому, что он им положил в голову. И коронная гостья, на которую я надеялась, своими же устами только что подтвердила суду его правду.

Лада у меня на руках завозилась и сказала громко, на всю палату:

— Мама, а почему тётя Устинья меня не узнаёт?

Ключница вздрогнула. Совсем чуть-чуть — плечом, как вздрагивают от сквозняка. Это заметила я, заметила Заряна, и больше никто.

— Тише, зайка, — сказала я и поднялась. — Суд позволит мне спросить?

— Разумеется, — сказал канцлер. — Мы не боимся вопросов.

— Тогда я спрошу вас, канцлер. Встаньте, пожалуйста, туда, где стояли свидетели. И скажите то, что сказали мне вчера в малой палате.

Он на миг задержался. Самую малость, на полвздоха, но я этот полвздоха увидела и записала себе, как записывают ошибку в чужом счёте. Потом он встал, вышел к блюду, улыбнулся и сказал ровным, тёплым голосом:

— Я вижу эту женщину второй раз в жизни. Вчера — впервые.

Заряна подняла голову.

— Отстало, — сказала она. Громко, на всю палату. — Вы лжёте, канцлер. Ваше отражение отстало на вдох.

Стало очень тихо. Толстый старик перестал шептать. Ключница Устинья подняла глаза от пола. И в этой тишине канцлер Творимир Гощин рассмеялся — мягко, необидно, по-отечески.

— Вот видите, — сказал он скамье стариков, — как опасно доверять дарам, которые ещё никто не освидетельствовал. Коронная гостья — женщина достойная, но она третий день при дворе, она устала, она скучает по дому и по ребёнку. И она очень хочет помочь бедной матери. Я её не виню. Зеркало показывает то, что хочет увидеть тот, кто в него смотрит. — Он повернулся к Заряне и чуть поклонился. — Возможно, я и встречал эту женщину раньше. Через мои руки проходит сотня просительниц в год, я не могу помнить каждую. «Впервые» — оборот речи, сударыня. Если вашему зеркалу угодно ловить меня на оборотах речи, пусть ловит. Но свидетели дома сказали правду. Это ваше зеркало подтвердило само.

Он сказал «зеркало показывает то, что хочет увидеть тот, кто в него смотрит», и я видела, как Заряну передёрнуло. Почти те же слова, только вывернутые наизнанку. Он знал и это. Он выучил её, как выучивают противника перед поединком, — за те три дня, что она жила в его почётной клетке у Лебяжьего пруда.

— Остаётся книга, — сказал канцлер, возвращаясь в кресло. — Память дома. В неё вписывают каждый брак и каждое рождение с тех пор, как стоит этот дворец. — Он положил ладонь на раскрытую страницу. — Здесь записано: «Ратибор, сын Всеслава, глава дома. В браке не состоял. Детей не имеет». Рука памятчика, печать дома. Суду нужно что-то ещё?

— Суду нужно, чтобы я посмотрела на эту страницу, — сказала я.

Он помедлил, потом пожал плечами и развернул книгу ко мне.

Я подошла. Я кормилась перепиской шесть лет. Я переписала столько прошений, описей и родословных, что могла бы узнать на ощупь, из какой мастерской пергамент и сколько ему лет. Страница, на которой было написано, что мой муж не был женат, оказалась светлее соседних. Совсем немного — так, что не заметишь, если не знаешь, куда смотреть. Обрез у неё был ровнее: соседние листы резали старым ножом, с волной, а этот — новым, прямым. И нить, которой лист был вшит в тетрадь, блестела, тогда как остальные нитки потемнели от времени.

А на соседней странице, той, что лежала к ней лицом, когда книгу закрывали, проступал слабый бурый оттиск. Когда книгу закрывают, а чернила ещё свежие, они отпечатываются на соседнем листе зеркально, задом наперёд. Здесь отпечаталось что-то длинное, в несколько строк. И это «что-то» совсем не походило на короткое «в браке не состоял».

Я подняла руку, чтобы коснуться оттиска, и канцлер мягко, но быстро закрыл книгу. Медные застёжки щёлкнули.

— Книги памятчика не для посадских рук, — сказал он ласково. — Вы посмотрели. Довольно.

— Лист вставной, — сказала я громко, чтобы слышали старики. — Свежий пергамент, новый обрез, новая нить. Этот лист вшили недавно. Вместо другого.

— Листы меняют, когда старые ветшают, — сказал канцлер. — Это обычная работа архива. Спросите у нашего архивариуса, если не верите мне.

Он знал, что Горазда здесь нет. Он знал, что старика не позвали. И он знал, что посадская переписчица, которая говорит про обрезы и нитки, звучит для скамьи стариков как баба на базаре, которая щупает чужое сукно.

Суд совещался недолго. Толстый старик, пошептавшись с соседями, встал и объявил, что дом Зарецких признаёт притязания женщины по имени Ждана ложными, запрещает ей приближаться к главе дома и к дворцу и что ребёнок при ней, поскольку его происхождение неясно, должен быть взят под опеку дома для освидетельствования крови лекарями дома.

Двое стражников шагнули ко мне от двери.

Я прижала Ладу к себе так, что она пискнула. Я не знала, что буду делать. Я была посадская переписчица с ножом для хлеба в котомке и дочерью на руках, и против меня стоял целый дом, который меня не помнил.

— Нет, — сказала Заряна.

Она встала. Даэрин встал вместе с ней, без единого слова, и сделал полшага вперёд, и я увидела, как сумеречный дракон умеет стоять так, что вокруг него будто темнеет воздух. Стражники остановились.

— Я прибыла по письму короны, — сказала Заряна спокойно, — рассудить дело о памяти забытого дракона. Это коронное дело, а не родовое. Эта женщина и этот ребёнок — свидетели коронного дела. До оглашения, которое будет при императоре, ни женщину, ни ребёнка не трогать. Они под моей защитой. Если дом Зарецких желает оспорить, пусть оспорит перед короной.

Канцлер посмотрел на неё долгим, тёплым взглядом. Потом улыбнулся.

— Разумеется, — сказал он. — До оглашения. Дом Зарецких чтит корону. Мы подождём. — Он сделал знак стражникам, и те отступили. — Но раз уж мы говорим о свидетелях коронного дела, позвольте и дому представить последнего свидетеля. Самого важного. Того, о ком всё это дело.

Он повернулся к боковой двери и сказал негромко:

— Милорд.

Ратибор вошёл.

Он был одет по-дневному, в тёмно-зелёный кафтан с золотым шитьём, волосы стянуты на затылке, и выглядел свежим, отдохнувшим, спокойным. Будто и не было никакой ночи в каморке под лестницей, никакой горелой корки, никакого «почему мне не страшно». Он прошёл через палату, не глядя на меня, встал к серебряному блюду и посмотрел прямо на Заряну.

— Мне сказали, что здесь решается, был ли я женат, — сказал он. — Я отвечу сам, чтобы больше никого этим не мучить. Я никогда не был женат. У меня нет детей. Эту женщину я не знаю.

Заряна смотрела в блюдо.

Я смотрела на мужа. На его лице, у самого виска, где под кожей тлела янтарная искра, я видела шов. Свежий, сегодняшний, ещё влажный, будто строку переписали поверх моей полчаса назад и не дали чернилам высохнуть. Утренний час. Пока я сидела у Заряны и рассказывала ей про горелую корку, канцлер сидел у него и стирал эту корку обратно.

— Не отстаёт, — сказала Заряна так тихо, что услышала только я. — Ни на волос, Ждана. Он верит.

Лада потянулась к нему у меня из рук и сказала: «Тятя». Ратибор вежливо, чуть печально посмотрел на неё — и не дрогнул.

Глава 4. Обручье памяти

Вечером того дня я сидела на подоконнике в гостевой палате у Лебяжьего пруда, смотрела, как стемневшая вода затягивается первым ледком у берегов, и считала. Это у меня от бабки: когда больно, считай. Боль от счёта не проходит, но перестаёт быть бесформенной, а с тем, у чего есть форма, уже можно что-то делать.

Ночью я положила ему в память строку: горелую корку, трёт переносицу, не страшно, когда Лада говорит «тятя». Утром канцлер сел рядом с ним на час и стёр эту строку, как стирают кляксу, — аккуратно, ножичком, чтобы не продрать пергамент. Значит, всё, что я успею дать мужу за день, к следующему утру будет снято. Значит, я пишу по воде. Значит, пока у канцлера есть утренний час, я могу приходить к Ратибору хоть каждую ночь и ничего не добьюсь, кроме того, что он будет каждое утро просыпаться с ощущением, будто ночью ему снилось что-то хорошее и его у него отобрали.

До новолуния оставалось двенадцать дней.

— Вы не спите, — сказала Заряна. Она вошла тихо, со свечой, в домашнем платке поверх рубахи, и села на лавку у стены. — Я тоже. Всё думаю, как это вышло. Я стояла там, смотрела в блюдо и говорила суду, что они не лгут. А вас из-за моих слов чуть не лишили дочери.

— Ваше зеркало сказало правду, — сказала я. — Они не лгут. Вот это и есть самое страшное в этом деле, и вы первая, кто это увидел своими глазами. Когда лжёт один человек, его можно поймать. А когда сотня людей честно верит в одно и то же и ни один из них не врёт, — что ловить? Канцлер не учил их лгать. Он сделал так, что им нечего скрывать.

Заряна помолчала.

— У нас на меже, — сказала она, — был человек, который крал у спящих имена. Я думала, страшнее ничего не бывает. А теперь думаю: тот хоть сам был чудовищем. А этот берёт хороших людей и делает их честными свидетелями своей лжи.

Лада спала на широкой кровати, раскинув руки, в чужой рубашке Заряны, которая была ей до пят. Мы обе на неё посмотрели и обе одинаково замолчали, как замолкают матери, когда спит ребёнок.

Я достала из-под ворота шнурок и сняла его через голову. На шнурке висело моё обручье — узкое, тёмного золота, с тонким узором из переплетённых строк, которые не читались, если не знать, что это строки. Заряна наклонилась со свечой.

— Его не отобрали? — спросила она.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.